

От небольшой запятой, которой начинается глаз, до приподнятой стрелы, которой он заканчивается – белые ровные, широкие мазки раз за разом покрывают лицо, пряча истинный цвет. Так спокойней, так свободней.

Холодная чёрная краска влажно блестит, закрепляясь на веках. И капли алого расцветают – в границах трафарета. Чужие длинные волосы, давно уж мёртвые, рассыпаются по плечам, покалывают чуть ниже лопаток. Украденное платье жмёт. Но пусть уж лучше платье сейчас, чем петля палача потом. Слишком живы воспоминания о том, как качалась на ветру его небольшая семья – отец и мать, постукивая друг о друга. Подать баю не справили – вот и вся вина их. И мальчонку не пощадили бы псы баевы, да делся тот куда, будто сквозь землю провалился. Только что цеплялся за белдемчи матери, прятался за юбку, ревел, размазывая слёзы и придорожную пыль по белому лицу, столь непохожему на смуглые лица деревенской ребятни, как вдруг пропал, стоило нукерам двинуться в его сторону.

То, что было прежде, уж подёрнуто дымом, словно и не было вовсе, кажется сном сказочным прошлая жизнь. «Илгери-илгери...»<sup>2</sup>, – нараспев читает в памяти его бабушка, маленькая, сухонькая, почившая прежде того, как несчастье обрушилось на них, прежде того, как вступил в свои права новый бай – наследник старого, бывшего хоть и суровым, но не столь жестоким и жадным как сын его.

Радость своя, для себя, думы о лёгком, не сложном, воздушном, смех беззаботный – всё это там, за стеной, куда не вернуться, а здесь...

– Маскарапоз, – шипит, втискивая ноги в ичиги, ещё хранящие тепло остывающего тела. Брызги крови, причудливые росчерки – новый орнамент на молочно-белом ала кийизе<sup>3</sup>. Посланик бая в чёрных одеждах, с распоротой грудью, разверстой, влажно мерцающей – нелепый среди вороха скомканных тошоков<sup>4</sup>. А чуть поодаль лежит она – с замолкшими колокольчиками на длинных косах, в платье,

окрасившемся в багровый; цветок, распустившийся в её груди, оказался смертельным.

Тот, кто пришёл забрать его по приказу бая, проиграл, обманувшись хрупкой внешностью – не ожидал, что мечами преступник владеет не хуже, а то и лучше. Искусство потешать народ бывает опасным, особенно если господину здешних мест правда не по нраву...

... – Не по нраву я тебе? – спрашивает девица в ярком наряде, обманчиво смущённо перебирает пальцами косички, чёрными змеями спускающиеся по светлой ткани рукавов и мелодично спрашивающие крохотными колокольчиками на уровне расшитого пояса: «Погляди, погляди на нас. Посмотри, как красивы мы, как желанны мы. Ухвати, ухвати. Попробуй ухвати нас». Дзинь, и девица взмахивает косичками, разлетаются те, разбивая солнце в брызги.

– Что же ты молчишь? – смотрит требовательно, алые губы упрямо сжаты. То и гляди, топнет ножкой, обувой в нежнейший сафьян, и разразится гневным плачем, переходящим в крик – как же это так, не отвечают ей, смеют просто глядеть непонятно, голову только на бок склонив.

– Не привык я, чтобы девица сама себя предлагала, – ему смешно. Вот уж не думал, что здесь есть такие. То в городах не редкость, а в селении, пусть и большом богатом, невидаль.

– Как смеешь ты? – вспыхивает, впервые нервно оглядывается – не видит ли кто. Но нет, у наспех поставленных подмостков – перевёрнутых телег – никого, кроме них. Уж ночь окутала своим тёмным одеянием и землю, и небо, и их самих. Окошки сельчан – не звёзды, хоть часты, но всё же редки, и свет от них скуден.

– А если и смею, то что ж? – ему не впервой улыбаться, да так, чтоб себе подчинить. И если шагнуть чуть ближе, вот так, чтобы слышать дыхание и сердце друг друга, как будто нечаянно коснуться рукою руки и, всё же поддавшись, качнуть колокольчик, за ним уж другой, и третий, четвёртый...

А после, обнявшись, лежать и слушать про то, как всё село ненавидит – её. Боится так сильно, завидует в чём-то, никто не жалеет, но все, как один, ненавидят. И первая в том – она же сама.

– Я выбрать могла ли? Он просто увидел и взял. А мог не увидеть – всё равно бы отдали. Как плата за мир, худой весь, косою такой мир, но... мир. Потом уж вернул. И юрту пожаловал эту. Нукерам охранять наказал... Сначала... Потом уж забыл. Другую забрал. Меха и наряды, и кольца, жемчуга и монеты остались. Всё дал, покуда занята была... Сейчас я вольна. Женою любого стать я могу, да только не хочет... никто. Никому не нужна. Пропащая. Но мне повезло. Я хоть живая. Не все возвращаются. Не всем так везёт.

– Несговорчивые?

– Дело не в том. Захочет – убьёт, захочет – одарит. Мне повезло, что другою забылся. Быть может, и нет уж её... И мать, и отец не раз уж слезами землю омыли, не зная о ней ничего.

– И также у всех? Что твои?

– Нет их. Умерли. Меня не дождались, – сказав, закрывает глаза. Но ресницы для слёз не преграда. Одна, следом вторая, словно крадучись, к виску выбегают.

– А хочешь, сыграю? – теперь уж он перебирает косячки. Те растрепались немного, и колокольчики есть не на всех, чуть слышно звенят, будто просят о чём-то. Одну приподнял и ею качнул. – Так хочешь или нет? Сыграю?

– На чём?

– На подмостках. Сыграю – тебя, и сельчан, и бая. И, может, себя...

... толпа замирала, забывая дышать. Вот первая кукла пошла – на бая очень похожа: рот приподнялся в глумливой усмешке, чёрные брови врзлёт, глаза откровенно смеются, вроде не злой, так и не скажешь, что может убить взмахом одним камчи, зажатой в руке. А следом куклы другие. Всё село их. Вот девицы, коих немало уж сгнуло, вот девицы те же в покоях у бая. Вот чёрное облако баевых псов – нукеров с мечами. Как саранча поля накрывают, сёла, дома – кто не справил корзины с зерном иль прочим, тех самих забирают. И вот уж висят, только ветер качает. И снова село. И снова жатва на полях. И снова живут. И песни выводят – сначала протяжно, потом в плясовую. И голову в небо никто не поднимет. Все ходят и только и могут, что кланяться, так

низко, что шарниры на куклах скрипеть бы должны от на-туги такой, да только привыкли – беззвучно, безропотно.

Сначала молчали. Собаки брехали, меж собой говоря. А люди молчали. Потом кто-то крикнул и бросил в него размякший инжир. Не попал. И тут началось. Сельчане шумели, вопили, что ложь, что так не бывает, что бай не таков. И некто другие с глазами хитрющими шныряли уж между рядов, жадно каждое слово хватая.

Он раньше сбежал, чем стража успела хватиться – до этого и сами внимали всему, что пред ними устроил заезжий фигляр. А позже и след уж простыл, куда...

... – Куда ты теперь? – к нему прижимаясь, спросила испуганно.

– Не знаю, – смеясь ей ответил, – ну как? Как пред-ставленьё? Понравилось?

– Глупый... Зачем ты...

– Старые счёты. Я утром уйду. Со мною пойдёшь?

– Не... не знаю, – она отвернулась, колокольчики жалобно звякнули.

– Сама говорила, тебя здесь не любит никто. Как про-кажённая. Со мною пойдёшь, будешь свободна.

– И мертва, – ответила тихо, – свободны только мёрт-вые.

– Как знаешь, – плечами пожал и начал нехитрый свой скарб собирать. Оглаживал платья на куклах, приблизив к глазам, подолгу смотрел и складывал одну за другой. – Я скоро уйду. Дождусь, чтоб село всё заснуло.

– Не надо, останься, – шепнула, косички свои теребя. – Быть может, забудут...

– Смешно говоришь. Даже странно, чего не идёшь. Могла веселить бы народ.

– Зачем ты?

– Прости.

– Меня, меня прости, – шепчет жарко, кидается к нему, обвивает руками белыми и дышит горячо, часто, а из-под ресниц слёзы бегут горячие, частые, и колокольчики в такт им на косах звенят трепетно, часто. И откладывает он кукол в сторону, поднимается к ней, устремляется, по косам рукою проводит, сжимает их, тянет, к выгнувшейся шее

губами припадает и целует неистово, жарко, забываясь в перезвоне колокольчиков, в перешёптывании скользящих, стекающих одежд, когда внезапный ветер непрошенным гостем врывается и гасит огонь в очаге.

Вскрикнула девушка. И косы намокли вдруг, взметнулись звоном, замолкли. Невидимый враг закружил по юрте, прячась во мраке, мягко, едва слышно ступая по тошокам, и только лунный свет нет-нет, да пытался ухватить сталь в его руке, обagrённую кровью.

– Думал успеешь сбежать? – будто тьма сама, не человек, спросила. – Думал ещё и девку прихватить? Грязный маскарапоз, – последнее слово змеиным шипением, сквозь зубы выпустил недруг. – Только мертва уж она. Хотела прощение себе, милость у бая выпросить. Гонцов послала о тебе сообщить. Но бай не прощает неверных.

Несчастливая уже не дышала. Лежала, раскинувшись на спине под тундуком<sup>5</sup>, и лунный свет струился по её лицу, касался угасших глаз и застывших колокольчиков на косах.

– Зря убил, – ответил маскарапоз.

– Она же тебя предала, – возразила темнота с удивлением.

– Не её вина. Ведь за мной пришёл. От бая? Почему меня не убил? Почему её?

– Бай хочет тебя живым, а девка ему давно не нужна. Уж больно диковинная ты зверушка. Зачем ты ему – то дело не моё. Развлекать ли своими чудесами или желает он лично голову твою на копьё насадить – неведомо мне. Моё дело малое – девку убить, тебя привести. Рубаху накинь только, а то в исподнем одном негоже являться пред ним.

Говорит, а сам ближе подходит, раскачивается, словно кобра перед броском. И лица не разглядеть – замотано в тёмную ткань. Только глаза в просвете глядят, углями горят.

– Собирайся, – властно бросает.

– А ежели нет?

– Силой поведу.

Кивнул маскарапоз. Посмеиваясь, наклонился плавно, неспешно – одежду подобрать. Замешкался, нащупывая что-то под расслабленным взглядом нукера и вдруг прыгнул стрелой, взметнулся с шёлковыми лентами в руках, кувыркнулся, успев

захватить лентами меч, выхватить его из вражеских пальцев и в тот же миг встать за спиною пошатнувшегося нукера. Тот и слова молвить не успел, как холодная сталь в тело вошла, крови горячей желая напиться вдоволь.

– Недалёко увёл. Вот и меч твой предал тебя. Тело ножами стало. Бывает же так. Забавно. Может, сыграю тебя, а теперь...

...теперь снова бежать, скрываться под разными личинами, выжидая, когда можно будет вернуться, чтобы повеселить народ правдой. Но есть ли толк в этой правде, коли люди только и могут, что смеяться иль сплёвывать в досаде, передавать друг другу истории, стараясь перенять манеру бродячего циркача, выделяя самые потешные моменты и упуская главное? А если б и не упускали – что могут они, почерневшие от тяжёлой работы под жарким солнцем, огрубевшие под пыльными ветрами, с песком, въевшимся в волосы, кожу, не видящие ничего, кроме полей бая и его же плетей? Остались ли у них желания, мысли? Не о каждодневном труде, не о награде или наказании, а о чём-то другом – о том, о чём мечталось, ну хотя бы, в детстве, когда мать ещё носила на закорках, сажала в густо пахнущую траву, давала в руки нехитрые игрушки из войлока и принималась работать, изредка оглядываясь, проверяя, как он там, улыбаясь ему не только губами, но и всеми морщинками-полумесяцами?

Почему он должен страдать за правду для них, если им это не нужно? Если они не знают, что делать с этой правдой, а и знали бы, не стали ничего делать. Потому что страшно. До дрожи в коленях страшно. Потому что помнят ещё, как вороньём слетались всадники бая и били каждого, кто попадался на пути, камчой, и та жалила пуще ос, вспарывая вместе с тканью одежды и кожу, поднимая брызги горячей крови. Хотя, была ли горячей та кровь? Должно быть, в жилах тех, кто привык жить в страхе, кровь течёт совсем иная – едва тёплая, едва пригодная на то, чтобы приводить в движение члены, чтобы заводить их каждое утро для выполнения работ.

Они радостно приветствовали бродячего артиста, когда он появлялся на краю их селений, и улюлюкали вслед,

когда он бежал, подгоняемый бряцаньем оружия и топотом копыт приближающейся погони.

«Маскарапоз!», – кричали, размахивая руками, те, кто желал быть замеченными слугами бая, чтобы тот наградил их усердие в поимке преступника.

«Маскарапоз!», – визжали женщины, закрывая юбками детей, а те норовили пролезть, выглянуть, чтобы восторженно прошептать по слогам: «Ма-ска-ра-поз».

– Маскарапоз, – шипел он, зажимая рану на плече (наёмник бая всё же успел задеть, шайтан). Надо спешить, если он надеялся уйти живым. Благо, конь – вот он, на месте, возле юрты нетерпеливо переступает, словно чуя опасность, грозящую хозяину. Луна обкусанным краем выглядывает из-за кудлатых туч, указывает призрачную дорогу сквозь поля, через цепь холмов. А хотя бы и туда – он запрыгивает в седло, ударяет пятками по конским бокам и устремляется к выходу из селения.

У ворот стража – в прошлую ночь, это он точно помнил, здесь стояли только двое, сегодня же их четверо, чуть поодаль слышатся шаги ещё одних дозорных. Так просто не проскочить.

– Маскарапоз... здесь скрывается?.. – ветер доносит обрывки разговора, –... всё прочесали... не удалось... надежда на охотника...

Чем ближе, тем сильнее бьётся сердце, и тем тише переступают копыта.

– Кто такая? Куда путь держишь? – хмурит брови один из нукеров. Голос у него хриплый, как бывает, когда долгое время приходится молчать. Напарники глядят оценивающе из-под насупленных бровей, пальцы оглаживают древки копий.

– Известное дело, к баю, – отвечает, искажая голос, заставляя его звучать тоньше, звонче, добавляя в него колокольчиков, поводя обманчиво тонким плечом, молясь Тенгри, чтобы кровь не успела проступить сквозь ткань, чтобы стражники купились на его алые губы и манящий влажный взгляд.

– Вроде недавно только брал господин себе девку отсюда, – засомневался первый стражник. Главный, видимо. Оттого и позволено ему сомневаться – роскошь не для

тех, кто в подчинении. – Ладно, – выдаёт после недолгого раздумья, – езжай.

И он легонько понукает коня, не забывая напоследок одарить стражников взмахом ресниц, – играет свою роль до конца. Те стоят, провожая его сонными глазами. Растревоженное плечо горит, на светлой ткани расплзается тёмное пятно – и не видно в ночи, какого цвета оно, да и неважно. Глаза одного из стражников расширяются, когда он видит это.

– Маскарапооз! – разлетается над спящим селением. Собаки просыпаются первыми – начинают брехать на все лады, поднимая хозяев. Стражники мечутся в поисках коней, не решаясь метнуть копья – а вдруг нельзя убивать? А вдруг бай осерчает?

А он уже далеко. Смеётся, жадно ловя ртом свободный ветер, стремясь обогнать сами звёзды в их сумасшедшей пляске, и кажется даже, что тесное прежде платье уже не жмёт. Да и ерунда, в сущности, это платье. Главное – уйти от погони. А ловко он придумал отвязать коней – и стражников задержал, и бая порядком истошил.

«Маскарапоз», – говорили про него. Вот только он считал иначе – ведь все они рано или поздно оказывались на сцене его театра; играли отведённые им роли, а потом покоились на дне походного сундука. На смену старым, сломанным куклам приходили новые – и жадные баи, и гордые красавицы, и несчастные бедняки, и храбрые юноши. И все одинаково могли получить от зрителей презрительное: «маскарапоз».

<sup>1</sup> маскарапоз (кырг.) – клоун, шут.

<sup>2</sup> Илгери-илгери – (кырг.) давным-давно. Так традиционно начинаются кыргызские сказки.

<sup>3</sup> Ала кийиз – ковёр из войлока

<sup>4</sup> Тошок – стёганный матрас. Тошоки бывают четырёх видов: жууркан (одеяло), жер-тошок (матрац), бешик жасалгалары (детские одеяла) и жаздык (подушка).

<sup>5</sup> Тундук (кырг.) – деревянный круглый обод, опора для крыши юрты